

Lo giorno se n'andava, e l'aere bruno
toglieva gli animai che sono in terra
da le fatiche loro, ed io sol uno
m'apparecchiava a sostener la guerra
si del cammino e si della pietate,
che ritrarrà la mente che non erra.
O Muse, o alto ingegno, or m'aiutate,
o mente che scrivesti ciò ch'io vidi,
qui si parrà la tua nobilitate.

День потухал. На землю сумрак лег,
Людей труда к покою призывая.
Лишь я один покойным быть не мог,
Путь трудный, утомительный свершая.
Все то, что предстояло мне вперед —
Страдания и обаянье рая, —
То в памяти навеки не умрет...
О, музы, о святое вдохновенье!
Теперь вы мой единственный оплот!

Данте, «Ад», песнь вторая¹

¹ Перевод Д. Минаева.

I

Со всей решительностью спешу заявить, что если этому рассказу о жизни Адриана Леверкюна, этой первой и, так сказать, предварительной биографии дорогого мне человека и гениального музыканта, с которым столь беспощадно обошлась судьба, высоко его вознесшая и затем низринувшая в бездну, я и предпосылаю несколько слов о себе и своих житейских обстоятельствах, то отнюдь не с целью возвеличить свою особу. Единственным моим побуждением была мысль, что читатель, вернее, будущий читатель, ибо в настоящее время нельзя и думать о том, чтобы моя рукопись увидела свет, если только чудом она не окажется за стенами осажденной «крепости Европы» и там хоть отчасти приоткроет темную тайну нашего одиночества... Но лучше начну сначала: только в предположении, что читатель захочет узнать, кто же это пишет об Адриане Леверкюне, я предпосылаю его биографии несколько слов о самом себе — не без боязни, конечно, вселить в читателя сомнение, в надежные ли руки он попал. Иными словами, сильна ли человеку моего склада эта задача, задача, на выполнение которой меня подвигло скорее сердце, нежели право духовного сродства?

Перечитав эти строки, я уловил в них какую-то затрудненность дыхания, беспокойство, столь характерное для душевного состояния, в котором я нахожусь ныне, 23 мая anno 1943, через два года после смерти Леверкюна (вернее, через два года после того, как из темной ночи он перешел в ночь беспросветную), собираясь приступить здесь, в маленьком своем кабинете в городе Фрейзинге на

Изаре, к жизнеописанию моего с миром почившего — о, если бы так! — несчастного друга. Да, нелегко у меня на душе, ибо настойчивая тяга к общительности — увь! — парализуется страхом сказать нечто не подлежащее огласке.

Я человек уравновешенный, по натуре здоровый, что называется, хорошо темперированный, словом, приверженный гармонии и разуму, по роду занятий я ученый, *conjuratus*¹ «латинского воинства», не вовсе чуждый искусству (играю на *viola d'amore*²), но отношения мои с музами носят скорее академический характер, и сам я рассматриваю себя как преемника немецких гуманистов эпохи «Писем темных людей», Рейхлина, Крота из Дорнгейма, Муциана и Эобана Гесса. Демонического начала, хотя я отнюдь не собираюсь отрицать его влияния на человеческую жизнь, я всегда чурался, инстинктивно его избегал, не чувствуя ни малейшей склонности отважно спускаться к силам тьмы или самонадеянно вызывать их из бездны, а если волею судеб они порой искушали меня, я им и пальца не протягивал. Этому своему убеждению я приносил немало жертв, идеальных и меркантильно-житейских, — так, я без малейших колебаний до срока отказался от любезной моему сердцу педагогической деятельности, как только понял, что она не идет в ногу с запросами и духом нашего исторического развития. В этом смысле я собой доволен. Но такая решительность, или, если угодно, ограниченность моей натуры, тем более заставляет меня сомневаться, по плечу ли мне тот урок, который я себе задал.

Не успел я взяться за перо, как с него уже сбежало слово, втайне смутившее меня, слово «гениальность». Я говорил о музыкальном гении моего покойного друга. Впрочем, слово «гений», хотя и сверхмерное, все же обладает благородным, гармоническим, по-человечески здравым звучанием, и поскольку я, обыкновенный человек, и в мыслях не имею считать себя причастным к этим высоким сферам или

¹ Присягнувший на верность (*лат.*).

² Виола д'аморе (б у к в.: «виола любви») (*ит.*).

исполненным *divinis influxibus ex alto*¹, то у меня, собственно, нет разумного повода страшиться этого слова, как нет причины страшиться благоговейно, радостно и почтительно говорить о гениальности. Похоже, что так. И тем не менее нельзя отрицать, да это никогда и не отрицалось, что в сияющей сфере гения тревожно соприсутствует демоническое начало, противное разуму, что существует ужасающая связь между гением и темным царством и, наконец, что именно поэтому эпитеты, которые я старался к нему приложить: «благородный», «здравый», «гармонический», — не совсем подходящие эпитеты, даже когда — с болью решаюсь я на такое разграничение — речь идет о чистой, неподдельной гениальности, которою Господь Бог благословил (или покарал?) человека, а не о гениальности губительной и порочной, о грешном, противоестественном сжигании своих талантов, о мерзостном выполнении богопротивной сделки...

Тут меня останавливает неприятное чувство, что я допустил некую артистическую промашку. Сам Адриан, уж конечно, бы не потерпел, чтобы, ну, скажем, в симфонии так преждевременно зазвучала эта тема. У него она проступила бы разве что потаенно, почти неощутимо, словно издавека. Впрочем, возможно, то, что сорвалось у меня с языка, воспримется читателем как нечто туманное, как сомнительный намек, и только я один в этом усматриваю грубую и непростительную нескромность. Человеку моего склада кажется трудным, едва ли не фривольным подойти к предмету, который ему дороже жизни, который переполняет всю его душу, с рассудочно-игровой расчетливостью komponующего художника. Потому-то я раньше времени и заговорил о различии между просветленным и непросветленным гением, различии, которое я отметил лишь затем, чтобы тут же в нем усомниться. И правда, пережитое заставило меня так напряженно, так неотступно размышлять над этой проблемой, что временами, к ужасу моему, мне начинало ка-

¹ Божественным вдохновением (*лат.*).

заться, будто меня самого выносит за пределы предуказанной мне ограниченной сферы и я недозволенным образом превышаю уровень своих природных способностей...

Но обрываю и этот ход мысли, так как вспомнил, что заговорил-то я о гении и о его бесспорной причастности демоническому началу лишь затем, чтобы объяснить, почему я сомневаюсь, обладаю ли я необходимыми данными для разрешения предстоящей мне задачи. Рассеять мои сомнения может только один успокоительный довод. Мне было суждено долгие годы прожить в доверительной близости с гениальным человеком, с героем этих моих записей, знать его с детства, быть свидетелем его становления, его судьбы и в скромной роли помощника даже участвовать в его творчестве. Либретто для задорной юношеской оперы Левверкюна по комедии Шекспира «Бесплодные усилия любви» написано мною, да и текст к гротескной оперной сюите «Gesta Romanorum»¹ и к оратории «Откровение Святого Иоанна Богослова» составлен с моей помощью и отчасти по моему почину. Вдобавок я обладатель бесценных записей, которые покойный мне, а не кому другому, завещал еще в добром здравии или, вернее, в юридически неоспоримом, относительно добром здравии; на эти записи я и буду опираться в своем повествовании и даже вставлять в него обдуманно выбранные из них отрывки. Но первейшим и решающим моим оправданием, если не перед людьми, так перед Богом, было и осталось то, что я любил его — с ужасом и нежностью, с состраданием и беззаветным восторгом, при этом нимало не заботясь о том, отвечает ли он хоть сколько-нибудь на мою любовь.

О нет, он не отвечал на нее. Если он и завещал мне наброски своих композиций и дневники, то это свидетельствовало лишь о его дружелюбно-трезвом ко мне отношении, я почти готов сказать: о милостивой и для меня, несомненно, почетной вере в мою добропорядочность, преданность и корректность. Но любить? Кого же любил этот человек?

¹ «Деяния римлян» (лат.).

В свое время женщину, пожалуй. В конце жизни ребенка. И еще, быть может, обаятельного вертопраха, которого он, не потому ли, что к нему привязался, прогнал от себя. И прогнал в смерть. Кому он открыл свое сердце или доступ в свою жизнь? Этого с ним не случилось. Беззаветную преданность Адриан принимал, — я в этом убежден, — подчас вовсе ее не замечая. Его безразличие было так велико, что он едва отдавал себе отчет в том, что происходит вокруг, в какой компании он находится, и так далее. Лишь в самых редких случаях он называл своего собеседника по имени, и это заставляет думать, что он просто не знал его имени, хотя собеседник имел все основания предполагать противное. Одиночество Адриана я бы сравнил с пропастью, в которой беззвучно и бесследно гибли чувства, пробужденные им в людских сердцах. Вокруг него царила *стужа*, и как тяжело стало мне, когда, написав это слово, я вспомнил, что он сам однажды употребил его, и в какой страшной связи! Жизнь и постижение ее наделяют отдельные вокабулы оттенком, вовсе чуждым их будничному смыслу, грозным нимбом, невидимым тому, кто хоть однажды с ними не столкнулся в их самом страшном значении.

II

Я зовусь Серенус Цейтблом, доктор философии. Мне самому странно столь запоздалое представление, но ход моего рассказа мне не позволил сделать это раньше. Возраст мой — шестьдесят лет, ибо я родился в 1883 году (первым из четырех детей у моих отца и матери) в Кайзерсашерне на Заале, в округе Мерзебург; там провел свои школьные годы и Лверкюн, посему я воздержусь от описания нашего городка до той страницы, когда начну о них рассказывать. Поскольку мой жизненный путь неоднократно переплетался с жизненным путем великого композитора, то о том и о другом, пожалуй, лучше рассказывать слитно, дабы не забегать вперед, а в эту ошибку легко впадает каждый, у кого много накопилось на сердце.

Здесь замечу только, что я родился в семье, принадлежавшей к весьма скромному кругу бюргерства, к людям, так сказать, полуобразованным. Отец мой, Вольгемут Цейтблом, был аптекарь, считавшийся лучшим в городе. В Кайзерсасерне имелось еще одно фармацевтическое заведение, но оно не пользовалось таким уважением и доверием горожан, как цейтбломовская аптека «Благие посланцы», и с трудом выдерживало конкуренцию. Наша семья принадлежала к маленькой католической общине Кайзерсасерна, основную часть населения которого составляли лютеране; моя мать была набожною прихожанкой, усердно выполнявшей религиозные обряды, тогда как отец, вероятно, за недосугом, относился к ним спустя рукава, хотя всегда и во всем поддерживал своих единоверцев, полагая, что такая солидарность имеет политическое значение. Примечательно, что у нас в гостиную, помещавшуюся над лабораторией и аптекой, частенько сиживал не только наш духовник, церковный советник Цвиллинг, но и городской раввин, доктор Карлебах — гость, навряд ли мыслимый в протестантских домах. Внешне представитель римской церкви был куда более привлекателен. Но у меня осталось впечатление, вероятно, основанное на словах отца, что низкорослый и длинноротый талмудист, никогда не снимавший ермолки, ученостью и остроюю религиозной мысли значительно превосходил своего коллегу-иноверца. Может быть, эти юношеские воспоминания да еще острая восприимчивость еврейских кругов к творчеству Леверкюна и побудили меня не согласиться с позицией, занятой нашим фюрером и его паладинами в отношении евреев, что, собственно, и заставило меня отказаться от педагогической деятельности. Конечно, мне приходилось сталкиваться и с совсем другими представителями этого племени, — взять, к примеру, хотя бы культурфилософа Брейзахера из Мюнхена, о крайне неприятных чертах которого я не премину сказать в свое время.

Что касается моей принадлежности к римской церкви, то таковая, конечно, сформировала и до известной степени определила мое сознание, хотя колорит католической куль-

туры никогда не вступал в противоречие с моим гуманистическим мировоззрением, с моей любовью, как говорили в старину, к «прекрасному в искусстве и в жизни». Оба эти элемента отлично во мне уживались, что, впрочем, не удивительно, ибо я вырос в стенах старинного города, исторические традиции и архитектурный облик которого сложились во времена церковного единства. Правда, Кайзерсашерн расположен в исконном краю лютеранства, в самой его сердцевине, среди таких городов, как Эйсleben, Виттенберг, Кведлинбург, Гримма, Вольфенбюттель и Эйзенах, что, в свою очередь, проливает свет на внутреннюю жизнь лютеранина Леверкюна и отчасти объясняет его поступление на богословский факультет. Реформацию можно сравнить с мостом, перекинутым из схоластических времен в наш век свободного мышления, но также из нашего времени в глубь Средневековья, пожалуй, в еще большую глубь сравнительно с не затронутой расколом христианско-католической традицией светлой любви к просвещению. Во всяком случае, я чувствую себя как дома в той золотой сфере, где Пресвятую Богородицу зовут «Jovis alma parens»¹.

Чтобы еще немного дополнить необходимейшие сведения о моей *vita*², замечу только, что родители дали мне возможность посещать гимназию, ту самую, где, двумя классами младше, учился и Адриан. Она была основана во второй половине пятнадцатого века и до самого последнего времени именовалась «Школой братьев убогой жизни». Отказаться от этого наименования ее заставил только стыд перед его архаическим и, для современного уха, несколько смешным звучанием: теперь она по имени соседней церкви зовется гимназией Св. Бонифация. Окончив ее в начале нынешнего столетия, я без малейшего колебания отдался изучению древних языков, к которым чувствовал влечение еще на школьной скамье и которыми последовательно занимался в Гисенском, Иенском и Лейпцигском универси-

¹ Мать-кормилица Юпитера (*лат.*).

² Жизни (*лат.*).

тетях, а с 1904 по 1905 год, не случайно, еще и в Галле, где тогда учился Адриан Леверкюн.

Здесь я не могу отказать себе в удовольствии обронить хотя бы мимоходом несколько слов о внутренней почти таинственной связи классико-филологических интересов с любовью к красоте и разуму человеческому — связи, заявляющей о себе уже в том, что ученых-античников называют гуманитариями, но главное в том, что внутреннее родство языковой культуры и гуманитарных знаний венчается идеей воспитания, призвание педагога как-то само собой вытекает из приверженности к классической филологии. Человек, занимающийся естественно-историческими реалиями, может, конечно, быть учителем, но никогда не станет воспитателем в том смысле и в той степени, как некто, посвятивший себя изящной словесности. Да и язык звуков (если позволительно так именовать музыку), быть может, более проникновенный, но странно нечленораздельный, не кажется мне относящимся к педагогической гуманитарной сфере, хотя мне, конечно, известно, что музыка играла подсобную роль в воспитании эллинов и в общественной жизни древнегреческих городов. Несмотря на всю логически-нравственную суровость, которой ей угодно прикрываться, музыка, как мне представляется, все же причастна миру духов, и я не поручусь за полную ее благонадежность в делах человеческого разума и человеческого достоинства. А что я вопреки сказанному всем сердцем ей предан — одно из благих или пагубных противоречий, неотъемлемых от природы человека.

Опять я позволил себе отступление. Впрочем, пожалуй, что и нет: ведь вопрос, можно ли провести четкую грань между наставнически-благородным духовным миром и этим миром духов, имеет прямое, — увы! — даже слишком прямое отношение к этим моим записям. Да и существует ли вообще такая область человеческого, пусть наисветлейшая, наидостойнейшая, которая была бы вовсе не доступна влиянию темных сил, более того, не нуждалась бы в оплодотворяющем соприкосновении с ними? Мысль

эта, не вовсе чуждая и человеку, отнюдь не тяготеющему к демонизму, стала приходить мне на ум еще во время моего полуторагодичного путешествия по Италии и Греции, которое мне дали возможность совершить мои добрые родители, едва только я сдал государственный экзамен. Глядя с высоты Акрополя на Священную дорогу, по которой проходили участники мистерий с шафрановой повязкой на лбу и с именем Вакха на устах, и позднее, когда я стоял на месте посвящения в таинства близ Эмбулея на краю Плутонова ущелья, под нависающими скалами, я смутно проникся чувством, которое мы зовем полнотою жизни, чувством, побудившим олимпийское эллинство преклоняться перед богами земных глубин. Впоследствии я не раз говорил с кафедры своим ученикам из выпускного класса, что истинная культура — это благочестивое, гармоничное, я бы даже сказал, примиряющее приобщение темных сил к культу богов-олимпийцев.

По возвращении двадцатипятилетний путешественник получил должность в гимназии своего родного города — иными словами, в той самой школе, которая дала ему первые зачатки знаний. Я преподавал там в младших классах латынь, греческий, а также историю, но уже в 1914 году перешел в баварское школьное ведомство и обосновался во Фрейзинге, ставшем с тех пор моим постоянным местом жительства, в качестве учителя гимназии и доцента богословской академии, чтобы в продолжение двух десятилетий с удовлетворением трудиться на поприще истории и филологии.

Несмотря на свой юный возраст, едва определившись на должность в Кайзерсашерне, я женился. Любовь к порядку и желание честно, по-хорошему начать самостоятельную жизнь подвигли меня на этот шаг. Елена, урожденная Ойльгафен, моя дорогая жена, которая и сейчас обо мне печется, была дочерью моего старшего коллеги по должности и по факультету из Цвиккау в Саксонском королевстве, и, не боясь вызвать усмешку читателя, я признаюсь, что имя милой, свеженькой девушки — Елена, это любезное мне звуко-